

# О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ КРЕСТЬЯН

## ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ДЕРЕВНЯ В 1920-х годах

**Александр Алексеевич АЗАРЕНКОВ**, кандидат исторических наук, г. Комсомольск-на-Амуре

В проблематике социальной истории исключительно важное место занимает изучение связи политических процессов и общественных отношений. Такой подход даёт историку пространное поле для исследовательской работы, позволяя использовать концептуальные положения исторической психологии, анализируя такой феномен, как политическая психология крестьянства.

Пытаясь на макроуровне понять общественное сознание деревни и его динамику, мы получаем возможность выявить как архаические структуры поведения крестьян, так и новое, привнесённое в сознание революционной эпохой, глубже увидеть скрытые политическими мифами и стереотипными наслоениями сегодняшнего общественного сознания социальные механизмы и корреляты политических настроений людей.

В рамках этой статьи предполагается лишь наметить (да и то предельно кратко) основные черты политического мышления крестьян при переходе от гражданской войны к миру на материале дальневосточного региона. Важно сделать несколько методологических замечаний принципиального характера, поскольку именно они в конечном счете определили авторское восприятие проблемы.

Среди фундаментальных составляющих большевистской версии исторического процесса центральное место занимали классы. И по сей день иные историки исходят из наличия в мыслях и поступках людей именно классового мировоззрения. Иерархия официальных и неофициальных цензоров следила за «классовым подходом» в трудах специалистов по общественным наукам. Большевизм, утверждая «историческую необходимость» своих целей, разрабатывал, опираясь на марксистскую концепцию, свою собственную картину российского общества, его структуры, его прошлого, настоящего и будущего. Для истории, для прошлого — это картина глубокой социальной дифференциации, расчлененности общества, уже поэтому обреченного на кровавую внутреннюю войну, что должно было в конечном итоге закончиться полным уничтожением классового деления. Эта картина строилась на представлениях о классах как составных частях общества, о классовой борьбе как движущей силе истории.

С тех пор многое изменилось. Рухнули марксистские мифы, открыв идейный вакуум.

Значимость российского капитализма была сильно «раздута» историками, а коль скоро дело обстоит именно так, то, в отличие от Запада, Россия так и не прошла в полном смысле капиталистической эпохи с сопутствующей ей классовой общественной структурой. Русская Смута, начавшаяся в 1917 г., прервала этот процесс, уничтожив хилые ростки капитализма.

Что касается России, то исторический материал вызывает глубокие сомнения по поводу существования классов в России в более или менее сформировавшемся виде, так сказать, в завершённом состоянии.

Можно, конечно, доставить себе удовольствие называть рабочих и буржуазию в России индустриальной, пореформенной эпохи на западный манер клас-

сами. Однако при этом возникает одно весьма щекотливое, неудобное обстоятельство. Класс, по Марксу — это группа, **осознающая свою специфику, отстаивающая свои** интересы (выделено мной.— А.А.). Класс формируется, создавая и развивая **свое самосознание** (выделено мной.— А.А.). В России же все страты бессознательно, инстинктивно «тянулись» к власти, склонялись к слиянию с государством, к отождествлению себя с ним как целым, стремясь осознать себя через власть. Подобное явление принято называть патернализмом.

Механизм этого явления элементарен. В самоотождествлении социума с властью проявилась типично средневековая ментальность, сродни отношению крестьянина к «своему» коллективу — патриархальной семье или общине. Теперь же, в силу размытия двух последних социальных институтов, это отношение экстраполировалось на «сложное», «большое» общество. Но этот патерналистский тип отношений несовместим, более того, противоположен отношениям классового типа. Российское общество — это нечто совсем иное, чем предполагаемая арена классовой борьбы, которая, со слов большевистских теоретиков, должна была вывести страну в новое, светлое будущее. Поэтому и победитель — большевизм — не мог быть результатом классовой борьбы. Он имел совсем другие истоки. Его шансы на успех зависели от того, сможет ли он, после разрушения старой власти, дезорганизации патерналистской системы отношений и начавшегося хаоса российской Смуты, заместить старую поизносившуюся патерналистскую модель новой, более справедливой и близкой к традиционалистским низам.

От признания этой постоянной незавершенности, «размытости» страт российского социума или, как мы выразились выше, «сложного» общества логически необходим следующий обобщающий шаг, т.е. признание того, что российское общество болезненно переживало утрату прежнего комфортного синкретизма (совсем так же, как и теперь с трудом расстается с «бесклассовостью», усредненностью, элементарностью советской эпохи), испытывая в ответ на кризисы патерналистского начала периодическое усиление стремления вернуться от не совсем комфортного псевдосинкретизма к настоящей архаической нерасчлененности. Возможно, поэтому в истории России всегда было чрезвычайно проблематичным формирование реального субъекта развития современного гражданского общества. Но и стремление вернуться к синкретизму, выраженное в Смуте 1917 г., тоже оказалось утопией.

Получается, что такие краеугольные камни большевистской «исторической необходимости», как классы и классовая борьба, в России являлись не исторической реальностью, а, скорее, историческим фантомом, результатом идеологического навязывания вопреки жизненным реалиям. Попытка интерпретировать появление, развитие и победу большевизма как естественный результат классовой борьбы объясняется стремлением рассматривать общество изнутри как сферу непрерывного насилия, что идеологически оправдало гражданскую войну и большевистский террор. Что бы ни думали большевистские идеологи о теории классовой борьбы, это было всего лишь средством идеологического осмысления истории, не имеющим под собой реального основания.

Еще одна методологическая оговорка касается терминологии проблемы. В последние два десятилетия вошло в моду вместо уже упоминавшегося выше и ставшего привычным понятия «сознание масс» или «крестьянское сознание» довольно бездумно, а часто и в целях своеобразной самопрезентации употреблять термин «менталитет». Это понятие приобрело сколь непродуманный, столь и широкий смысл, стало «резиновым», вмести в себя любые свидетельства о настроениях людей, даже из документов сугубо политического характера. По мнению автора авторитетнейшего историографического исследования по истории русской революции В.П. Булдакова «Красная смута», «исторически

понятие менталитет включает в себя прежде всего логические стереотипы мировосприятия, характерные для западного социокультурного пространства. В России основы мировосприятия определяются, скорее, эмоциональностью, базирующейся, в свою очередь, на этических императивах. Применительно к России можно говорить лишь о психоментальности»<sup>1</sup>. Свою идею в упомянутой монографии В.П. Булдакову удалось достаточно убедительно аргументировать.

Обращая внимание к историографии поставленной в статье проблемы, следует заметить, что политическая психология крестьян восточных окраин страны в эпоху нэпа до сих пор не стала предметом комплексного анализа. Историки касались этой темы либо вскользь, либо традиционно ограничивались изучением только «революционного» сознания сельских масс<sup>2</sup>.

В последние годы, пожалуй, наиболее объективно и основательно социально-политические (но в куда меньшей степени социально-психологические) аспекты истории крестьянства Дальнего Востока первой половины 1920-х годов были исследованы в статьях Л.И. Проскуриной и монографии J.J. Stephan<sup>3</sup>.

Историк, взявшийся за анализ политической психологии, неизбежно сталкивается с проблемой, кажущейся почти неразрешимой. Это проблема материала, с которым ему предстоит работать. Дело в том, что суждения, настроения, стереотипы чаще всего действительно «тёмных» и не имевших обыкновения оставлять о себе какие-либо свидетельства деревенских масс по известным источникам почти не фиксируются. Дальневосточные (и в целом российские) крестьяне вплоть до сталинского «большого скачка» (а в ряде случаев — и до хрущёвской эпохи включительно) — это в полном смысле слова традиционный «коммунальный» мир, «безмолвствующее большинство» (А.Я. Гуревич).

Источники, косвенно отражающие настроения сельского труженика, противоречивы, фрагментарны и нередко тенденциозны. Вчитываясь в них, мы с трудом можем уловить живую мысль или слово самих крестьян. Говорят не они сами, а о них. Это — чужая речь. Причём чаще всего фиксируются не политические взгляды, мысли, чувства крестьян, а их действия. Поэтому в идеале историку необходима своеобразная дешифровка, обратный перевод действия (или бездействия), так сказать, «бытия» в мысль, чувства в «сознание». Но как раз такой перевод неизбежно будет искажать картину массовых настроений, и без того неотчетливую.

Теперь об источниках, которые позволяют осветить важнейшие черты политической психологии крестьянства Дальнего Востока России — СССР. Было бы преувеличением утверждать, что круг этих источников широк. Но он достаточен, чтобы, используя компаративистский подход в качестве вспомогательного метода, попытаться выявить и осмыслить черты политического мышления крестьянства региона.

В первую очередь среди используемых источников следует назвать комплекс недавно опубликованных информационных материалов ОГПУ за 1923—1929 гг.<sup>4</sup> Среди документов второго тома более сотни сводок содержат анализ политического положения и настроений в дальневосточной деревне.

Естественно, закономерен вопрос о достоверности информации, запечатлённой в этих весьма специфических документах, или, иначе говоря, их адекватности действительности. В этой связи составители сборника документов «Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939» приводят весьма показательное высказывание шефа советской тайной полиции Ф.Э. Дзержинского в письме своему заму (и преемнику) В.Р. Менжинскому от 24 декабря 1924 г.: «Наши сводки таковы, что они дают одностороннюю картину — сплошную чёрную — без правильной перспективы и без описания реальной нашей роли»<sup>5</sup>.

Между тем для избранного в настоящей статье ракурса — политической психологии крестьянства — важно как раз то обстоятельство, что в информ-

сводках политического контроля за настроениями деревни фиксировались действительные, объективного порядка причины крестьянского недовольства политикой властей, а отнюдь не исключительно связанные с враждебными действиями противников большевистского режима. Материал о «врагах» и «враждебной деятельности», конечно, тоже находил отражение в информматериалах ОГПУ, однако он «не делал погоды» и не затмевал деревенскую действительность. В любом случае, вплоть до начала «великого перелома» «враги» не исчерпывали всех крестьянских проблем. Как легко предположить, метаморфоза случилась в кровавые тридцатые годы: любая революция востребовала врагов, а «революция сверху» — в особенности.

Аналогичный (хотя и, по понятным причинам, гораздо менее объёмный) информационный материал (периодические политические сводки, обзоры политического положения, отчёты) 1920—1922 гг. Госполитохраны (ГПО) ДВР, адресованный партийному и государственному руководству советской России и ДВР, столь же безупречный с точки зрения достоверности, собран автором в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ) (разрозненные дела из фондов 17, 372).

Среди вторичных по значимости (и, видимо, неискажённости информации) источников привлекались отчёты местных партийных и госструктур Дальбюро РКП(б), а последнего — ЦК РКП(б), отложившиеся в хранилищах бывших архивов КПСС, начиная с РГАСПИ (в первую очередь фонды 17 и 372), и заканчивая местными.

Однако все (или почти все, об одном из исключений — письме К.И. Бреусова в секретариат ЦК РКП(б) — речь пойдёт ниже) эти источники — взгляд на деревню и её жителей «сверху» и «со стороны».

Между тем «немота» деревни отражает ещё одну черту, присущую крестьянской среде: крестьяне чаще всего вообще не воспринимали (а значит, и не различали) партийных программ и лозунгов, их сознание оставалось в стороне от политического содержания тех или иных акций власти. В то же время большевики будучи не в состоянии предложить деревне сколько-нибудь реальную и ощутимую хозяйственную помощь продолжали «кормить» крестьян лозунгами, уповая на самый привычный и простой, но совершенно бесполезный способ работы с деревней — агитацию. Так, в «Секретных тезисах внутренней политики», принятых высшим парторганом на Дальнем Востоке — Дальбюро ЦК РКП(б) 23 августа 1922 г., даже с кулачеством предполагалось вести диалог через «сильную агитационно-пропагандистскую работу»<sup>6</sup>.

И все-таки крестьяне реагировали вовсе не на слова, пусть даже касавшиеся их непосредственно, а на реальную пользу от практической политики «рабоче-крестьянской» власти, пропуская «мимо ушей» декларируемые ею принципы. Отсюда недоверие к любым заезжим агитаторам, которые воспринимались деревней как «чужие». Поскольку инициатива в установлении контакта всегда исходила от властей, крестьян такая навязчивость раздражала.

Большевики, часто (а с течением времени всё в большей степени) имевшие крестьянское происхождение, оказываясь «во власти», отрывались от влияния внутридеревенской среды, её воздействия, но не от её ментального «духа», который никуда не исчезал, а воспроизводился, трансформируясь в поведении большевистского чиновника, и довольно быстро начинал воспринимать вчерашний родной для себя сельский мир как «чужой», «непонятный», а то и откровенно враждебный его (и его партии) намерениям, или даже презиравшийся им, как своё собственное «вчера», в котором людская масса — «быдло» и с которой основательно «придётся повозиться».

Документальный материал убедительно свидетельствует, что единство (довольно относительное) крестьян и большевиков в регионе практически

ограничилось борьбой с белой контрреволюцией и особенно интервентами в период гражданской войны. С устранением общих противников в мирное время вчерашние союзники оказывались лицом к лицу, с трудом уживаясь, зачастую не понимая, а то и не пытаясь понять друг друга. Неудивительно, что гармоничного единства и даже бесконфликтного сожительства большевиков и деревни часто не получалось.

С одной стороны, можно говорить об определённой автономности крестьянских настроений от лозунгов, нюансов и корректив политического курса большевиков, даже если они отчасти затрагивали интересы крестьян. Дальневосточная деревня 1920-х, пережив революционные потрясения, вернулась к своему обычному мирному труду, далёкому от политических перипетий. Она оставалась, как и прежде в дореволюционный период, вне реального воздействия власти и продолжала жить своей жизнью, не имея ясной и определённой перспективы по отношению к новому большевистскому режиму. Можно сказать, что крестьянство по отношению к большевикам, хотя и не было в конфронтации, но фактически их игнорировало, как власть «чужую», «некрестьянскую», далёкую от своего идеала.

Какими были представления об идеальной власти у дальневосточников и как они соотносились с реалиями нэповской России?

Прежде всего важно отметить традиционный, в чём-то даже архаичный характер этих представлений. Историческая память всегда порождала и порождает у русских страх перед анархией и безвластием. Поэтому идеальная власть должна быть прежде всего эффективной, обеспечивая «порядок». В сущности, и сегодня никто (даже радикалы) всерьёз не хочет хаоса, беспорядков и гражданской войны.

Русским людям вообще исторически присущ апокалипсический страх перед сменой власти (явление, испытанное дальневосточниками в гражданскую войну). Ведь прежде, до утверждения большевиков, всегда оказывалось, что на местном уровне каждая новая власть предельно слаба, неэффективна, не способна навести порядок, а в силу своей «местечковости» (тем более присутствия «чужих» — японцев (тоже квазихозяев) настоящей властью не является.

Отношение к большевикам как к «московской», центральной власти поддерживалось массами скорее осторожно-недоверчиво, но и с надеждой, ожиданием «варягов» из центра, которые наконец-то наведут порядок в крае вне зависимости от того, какую политику они проводили в центре, и даже вопреки доходившим до региона смутным слухам о поволжском голоде, или остаточных и уже почти легендарных воспоминаниях об ужасах «военного коммунизма».

Это внешне пассивное, инертное отношение к большевикам вряд ли можно называть поддержкой. Тем более что отношение к власти формировалось скорее на бессознательном или, точнее, подсознательном, но никак не на осмысленном уровне, а потому оставалось смутным, неопределённым и противоречивым.

Важен фон подобных настроений. Налицо традиционные властно-авторитарные ориентации населения, слишком долго вкушавшего «прелести» внутренней смуты и иноземного (японского) засилья. Отсюда и стремление к политической лояльности власти (не столь важно, большевистской либо иной, но очень важно, что центральной, «московской»).

Такая очевидная «разруха в головах» даже у интеллигенции выдавала отсутствие у оппонентов коммунистов конструктивной и реалистичной идеи возрождения России, альтернативной большевизму, и вполне корреспондировала со столь же неопределёнными настроениями деревенских «низов».

В начале 1920-х годов революционная эйфория ожидания близкого «чуда» уже прошла, крестьянский идеал оказался недостижим, а энтузиазм деревни,

столь характерный для партизанской борьбы с белогвардейцами и интервентами, уже к лету 1922 г. уступил место массовой аполитичности и разочарованию.

Однако, с другой стороны, оставаться в полном вакууме от внешнего мира, а значит и от власти, деревня не могла. Большевики пришли, чтобы построить справедливый коммунальный мир как раз в духе крестьянского общинного идеала. Правда, не для деревни, а для «чужого» и враждебного крестьянскому сознанию города, но именно за счёт деревни, её ресурсов и рассчитывая на её поддержку. В крестьянской стране иначе быть и не могло.

Уже в период ДВР правящая большевистская партия столкнулась с политической инертностью деревни даже в тех случаях, когда требовалось хотя бы формально проявить верноподданнические настроения. Пассивные настроения масс проявились и в ходе официальных выборных кампаний, будь то выборы в представительные органы ДВР или в Советы, выражаясь в абсентеизме — неучастии в голосовании. Так, на выборах в Народное собрание ДВР, состоявшихся в июне 1922 г., в непролетарском Верхнеудинске (Улан-Удэ) из 2400 избирателей на участки пришли всего 453 чел. (18,88%), а в «полуаграрном» тогда Хабаровске из 15 720 — 4559 избирателей (29% общего числа)<sup>7</sup>. Общее число проголосовавших по республике в целом едва ли достигало половины всех имевших право голоса. К тому же избиркомы сталкивались с большим числом испорченных бюллетеней для голосования<sup>8</sup>.

Власти не оставалось ничего другого, как пытаться сымитировать политическую активность масс, инициировав показушными мероприятиями её «сверху», «втягивая» крестьянские массы в акции политической поддержки правящей партии. В информсводке Главного управления Госполитохраны (ГУ ГПО) ДВР с 1 июля по 1 августа 1922 г., направленной в самую высокую инстанцию — ЦК РКП(б) (итоги голосования на выборах в Народное собрание ДВР по республике), откровенно признавался факт сознательной их фальсификации: «Хотя в большинстве районов преобладающее число голосов получили коммунисты, но это не является показателем симпатии населения. Большую поддержку оказала армия, давшая много голосов за коммунистические списки. Настроение же населения преимущественно отрицательно или пассивно»<sup>9</sup>.

Главным раздражающим фактором во взаимоотношениях новой власти и деревни, безусловно, являлся продналог, воспринимавшийся его плательщиками как неизбежная «большевицкая дань», причём конфликтные ситуации по поводу величины налога начали возникать сразу же после советизации края. Так, в госинфсводке ГПУ за 1 февраля 1923 г., направленной руководству страны, отмечались факты вооруженного сопротивления при сборе продналога в только что освобождённом от белых Приморье, где крестьянская эйфория от советизации улетучилась почти мгновенно. В Черниговской волости Спасского уезда за противодействие властям были арестованы 23 крестьянина. В деревне Раковке Никольск-Уссурийского уезда крестьяне постановили не допускать ареста бывшего прапорщика Пилы. В своё оправдание местные власти списывали эти факты исключительно на провокационные слухи, распространявшиеся среди крестьян белогвардейцами, проникшими из Маньчжурии и рассеявшимися по деревням Приморья<sup>10</sup>.

Последний довод дружно подхватили советские историки, которые пошли дальше, называя едва ли не любые проявления крестьянского протеста «белобандитизмом» «при активном пособничестве местного кулачья»<sup>11</sup>.

Однако на деле именно пресловутый продовольственный вопрос склонял чашу весов массовых действий от равнодушия к власти до бунта против неё. Прочие же соображения при этом порой просто отсутствовали. В отличие от местных властей, примечательна та недвусмысленность, которой объяснялись причины возникновения брожения в деревенских массах в сводках ГПУ—ОГПУ.

Её подтверждают и выводы более поздних сводок «политической полиции» СССР (1923—1925 гг.) о том, что политическое положение в ДВК всецело связано с продовольственным вопросом. Причём такая же ситуация наблюдалась не только в дальневосточном регионе, но и там, где фактор границы, а значит угрозы извне, не играл никакой роли.

Конечно, близость Маньчжурии как одной из баз русской антибольшевистской эмиграции представляла собой известную опасность для большевистской власти, но эту опасность, особенно в уже упоминавшемся нами выше контексте отторжения деревней любого «чужака», думается, всё же не следует преувеличивать. В любом случае представляется неверным искать основную причину конфликта большевистской власти и крестьянства в некоем вмешательстве какой-то «внешней силы», остатков белогвардейцев, к тому же вчистую проигравших в только что закончившейся гражданской междоусобице как раз потому, что белые (в отличие от большевиков) не смогли (даже временно) найти понимания у собственного народа, представляя собой отторгнутые революционной эпохой имперские элиты старой петербургской России.

Интересно, что когда в 1924 г. сразу в ряде губерний СССР случился недород, ситуация там быстро накалилась, и крестьянство начало выходить из обычного состояния спячки, чем немало напугало власти.

В этой связи 24 июля 1924 г. заместитель председателя ОГПУ Г. Ягода написал большое циркулярное письмо ОГПУ № 311319/С, в котором констатировалось, что неурожай вызывает «угнетенное и даже паническое настроение среди крестьянства». Документ содержал прогноз дальнейшего ухудшения экономического положения в деревне, что, по мнению ОГПУ, неизбежно вызвало бы нежелательные для власти процессы: общее падение сельского хозяйства, усиление расслоения крестьян, рост числа безлошадных крестьян, закабаление бедноты и её бегство в города и благополучные районы в поисках заработка, спекуляция хлебом, скачки цен на скот, особенно на лошадей, и другие отрицательные явления. «Не следует забывать,— отмечалось в письме ОГПУ,— что за последние годы крестьянство политически значительно поднялось, от пассивности крестьянства в 21 году почти не осталось следа»<sup>12</sup>.

В конце 1980-х годов автором статьи в главном тогдашнем партархиве страны ЦПА ИМЛ (теперь РГАСПИ) обнаружен документ, довольно откровенно проясняющий отношение коммунистов, (правителей тогдашнего (июнь 1921 г., «буфера» — ДВР) к крестьянству. Случай же обнаружить содержание этого источника представился только сейчас. Это подлинник письма в секретариат ЦК РКП (б), а автор письма<sup>13</sup> — К.И. Бреусов — выходец из крестьян Амурской области, член РКП(б) с 1917 г., с первых дней советской власти в Амурской области — член облисполкома, областной комиссар продовольствия, затем — партизанил, член полевого облисполкома и оперативного штаба партизанских отрядов. После падения колчаковского режима работал инструктором, восстанавливая советы на местах, наконец, 10 ноября 1920 г. был избран Читинской объединительной конференцией представителей областей Дальнего Востока в состав первого Временного правительства Дальневосточной республики<sup>14</sup>.

Человек, которому принадлежит письмо, — вовсе не рядовой и не дилетант в политике. Тем не менее уже 10 января 1921 г., т.е. спустя два месяца после избрания «во власть», добровольно (!) (что бывает у нас совсем нечасто) покидает свой престижный пост. В заявлении на имя председателя Временного правительства ДВР А.М. Краснощёкова К.И. Бреусов так объяснил причину своей отставки: «Ввиду того, что политика по отношению крестьян Правительством ведётся неправильная, что может вызвать несознательно крестьянство снова к вооружённому столкновению, и ввиду того, что с крестьянскими представителями совершенно не хотят считаться и даже разговаривать, держат их в тем-

ноте, не сообщая им совершенно ни о каких происшествиях в областях, чем ставят их совершенно в безвыходное положение и выбивают из рук всякую работу, я с сего дня из состава Правительства выхожу и не желаю принимать участия в разрешении Правительством вопросов...»<sup>15</sup> Заявление звучит как осознанный политический демарш.

Автор письма, не желая превратиться в новоявленного коммунистического чиновника, по сути остался представителем крестьян, а значит, высказывался о власти одновременно и от их имени, и от имени вчерашнего носителя этой власти, т.е. грамотно, со знанием дела. Перед нами тот редкий, по-своему уникальный случай, когда прорвалась и зазвучала прямая речь мужика, ещё не вполне оторвавшегося «от сохи», носителя чаяний «молчаливого большинства», сумевшего сформулировать, записать и донести до потомков то, что думал о «рабоче-крестьянской» власти сам её «субъект» — народ.

А вот выдержки из пространного письма К.И. Бреусова в ЦК. «...Мы сумели привлечь большинство населения на свою сторону, да не сумели им управлять и руководить... До сих пор мы устраивали тесный союз города с деревней лозунгами и словами, а делом продолжаем копать пропасть и разъединение, и, если кто-нибудь начинает предлагать деловой союз, то его мало назовут эсером, а то ещё контрреволюционером, да ещё арестуют... У народного сундука должны быть не только коммунисты (среди которых приходится встречать отъявленных негодяев), например, в Амурской области. Отменить трудовую повинность для крестьян... Такая повинность должна применяться в исключительных случаях... Все вопросы, касающиеся крестьян, необходимо проделывать их собственными руками, не бояться их, что они не коммунисты... Государственная власть должна находиться в руках не коммунистов, а у рабочих и крестьян, у действительных тружеников, без всякой подделки. Партия должна быть только контролёром-инструктором советской политики, а не диктатором...»<sup>16</sup>

И далее: «...Мы боимся того, чтобы у власти был рабочий и крестьянин... проповедем и насаждаем коммунизм среди тёмных масс почти силой, а сами ещё до сих пор не коммунисты на деле... Никто из коммунистов не должен пользоваться особыми привилегиями (как это наблюдается теперь.— А.А.). Коммунист, чем больше занимает пост, тем живёт роскошнее и больше тратит народных денег... Не встречал ни одного мужичка-крестьянина, который бы молвил слово, что он доволен существующей властью,— нет. Он говорит, что власть как таковая — хороша, но порядок никуда не годится... Положение всё больше и больше затягивается и ухудшается, а это факт...»

«...Когда мы боролись с колчаковщиной и японской интервенцией, у нас в партизанской армии было не более 4 тысяч... а организовывали и управляли ею сами мужички крестьяне, да ещё те, которые засевают от 20—100 и более десятин хлеба, так называемые «кулаки». А вот теперь, когда этим мужичкам отбили руки «умные коммунисты», то дело расшаталось, и что получится — пока мне не видно, потому что «всё закрыто», но я всё-таки скажу, что хорошего будет мало».

И в заключение: «...Гуша крестьянская немного остыла от революционно-го жара, а остыла она потому, что неопытные коммунисты не знают подхода к массе. Они массу отеснили от управления, отчего и получилась у крестьян апатия...»<sup>17</sup>

Интересно, что могли ответить секретари из московского ЦК провинциалу-правдоискателю, если б захотели?

В целом адаптация сельского населения дальневосточного региона к большевистской власти происходила довольно безболезненно, плавно и почти незаметно, буднично. Власти легко справлялись с открытым политическим сопротивлением: случаи такого рода на Дальнем Востоке локальны и непродолжительны.

К примеру, самое массовое крестьянско-казацкое выступление — Зазейское восстание во главе с есаулом Маньковым (прибывшим из Маньчжурии. — А.А.) в Амурской губернии (14 января — начало февраля 1924 г.), численность участников, включая насильно мобилизованных, составила чуть более 1000 чел.<sup>18</sup>

Поэтому о массовом политическом протесте в регионе речь не идёт. Население, по крайней мере внешне, терпело режим, хотя о сознательно выраженной массовой политической поддержке властей со стороны деревни говорить применительно к первой половине 1920-х годов, конечно же, нельзя. К тому же внешней лояльности власти сопутствовала всё более нарастающая апатия со стороны крестьян.

<sup>1</sup> Булдаков В.П. Красная смута: Природа и последствия революционного насилия. М., 1997. С. 303.

<sup>2</sup> Флеров В.С. Дальний Восток в период восстановления народного хозяйства. Томск, 1973; Балалаева Н.М. Из истории борьбы с контрреволюционной деятельностью баптистских организаций на Дальнем Востоке в первые годы советской власти // Из истории советского Дальнего Востока. Хабаровск, 1963. С. 96—112; Шагин Э.М. Дальневосточная партийная организация в борьбе за развертывание шефства города над деревней в 1923—1925 гг. // Там же. С. 72—95; Мандрик А.Т. Дальний Восток в период формирования и развития «государственного социализма» в СССР (1923—1941 гг.) // Эволюция и революция: опыт и уроки мировой и российской истории: Материалы междунар. науч. конф. Хабаровск, 1997. С. 206—209; Крестьянство Дальнего Востока СССР XIX—XX вв.: Очерки истории / под общ. ред. акад. А.И. Крушанова. Владивосток, 1991 и др.

<sup>3</sup> Проскурина Л.И. Социализм и дальневосточная российская деревня в 20—30 гг. // Эволюция и революция: опыт и уроки мировой и российской истории: Материалы междунар. науч. конф. Хабаровск, 1997. С. 224—227; Проскурина Л.И. Некоторые итоги изучения аграрной истории российского Дальнего Востока 20—30-х годов // Дальний Восток России в контексте мировой истории: от прошлого к будущему: Материалы междунар. науч. конф. (докл. и сообщ.) 18—20 июня 1996 г. Владивосток, 1997. С. 69—75 и др.; см. также: Stephan J.J. The Russian Far East: A History. Stanford, 1994.

<sup>4</sup> Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939: Док. и материалы: В 4 т. / под ред. А. Береловича, В. Данилова. М., 2000. Т. 2: 1923—1929 гг.

<sup>5</sup> Данилов В., Верт Н., Берелович А. Советская деревня 1923—1929 гг. по информационным документам ОГПУ (Введение) // Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939: док. и материалы. С. 7.

<sup>6</sup> РГАСПИ. Ф. 372, оп. 1, д. 135, л. 74.

<sup>7</sup> Дальневост. телеграф. Чита, 1922. 30 июня.

<sup>8</sup> РГАСПИ. Ф. 372, оп. 1, д. 1193, л. 101; АДНИ ГАЧО. Ф. 81, оп. 1, д. 171, л. 229; Дальневост. телеграф. Чита, 1922. 30 июня.

<sup>9</sup> РГАСПИ. Ф. 17, оп. 13, д. 293, л. 72.

<sup>10</sup> Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939: док. и материалы. С. 74.

<sup>11</sup> Шагин Э.М. Дальневосточная партийная организация в борьбе за развертывание шефства города над деревней в 1923—1925 гг. // Из истории советского Дальнего Востока: Материалы междунар. науч. конф. Хабаровск, 1963. С. 79.

<sup>12</sup> Виноградов В.К. Информационные материалы ОГПУ за 1923—1929 гг. // Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939: док. и материалы: С. 36.

<sup>13</sup> РГАСПИ. Ф. 17, оп. 13, д. 294, л. 19—27.

<sup>14</sup> История Дальнего Востока России / отв. ред. Б.И. Мухачёв. Владивосток, 2003. Т. 3. Кн. 1. С. 391.

<sup>15</sup> ЦПА ИМЛ. Ф. 372, оп. 1, д. 1112, л. 100.

<sup>16</sup> Там же. Ф. 17, оп. 13, д. 294, л. 19.

<sup>17</sup> Там же. Л. 21.

<sup>18</sup> Советская деревня глазами ВЧК—ОГПУ—НКВД. 1918—1939: Док. и материалы. С. 1054—1055.

**SUMMARY:** Candidate of Historical Sciences A. Azarenkov in his article “On Political Psychology of Peasants” tells about Far Eastern village of the 1920s. There is shown peasants’ perception of the Bolshevik reforms in agriculture.